

18+

ДОМ НА СИНИЧКЕ

ИСПОВЕДЬ САПОЖНИКА



Элина Кинг

Элина Кинг

**Дом на синичке.
Исповедь сапожника**

«Издательские решения»

Кинг Э.

Дом на синичке. Исповедь сапожника / Э. Кинг — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-691132-1

История Егора, родившегося в 1910 году в доме из красного дерева, который революция отняла. Украденное золото, война, нищета в Москве и встреча с Анной — сердитой клиенткой, ставшей женой и матерью его восьмерых детей. Роман о том, как строят главное богатство — семью — из верности, труда и любви, вопреки ударам XX века.

ISBN 978-5-00-691132-1

© Кинг Э.
© Издательские решения

Содержание

ОТ АВТОРА	6
КРАСНОЕ ДЕРЕВО	7
КОЛЫХАНИЕ	9
ГОРОД-МЕХАНИЗМ	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Дом на синичке Исповедь сапожника

Элина Кинг

© Элина Кинг, 2026

ISBN 978-5-0069-1132-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОТ АВТОРА

1910 год. Село Осташово. В тени огромного дома из красного дерева рождается мальчик по имени Егор. Он – незаконный сын служанки и богатого хозяина, живущий на грани двух миров, никогда не принадлежа им полностью. Его детство озарено призрачным блеском настоящего золота и уютom библиотек в барских покоях, но революция безжалостно стирает эту жизнь с лица земли.

Спасаясь бегством, Егор, его мать и старая няня везут в Москву сундук с семейными драгоценностями – последнюю надежду на будущее. Надежду, которая будет жестоко украдена в дыму поезда ловкими пальцами цыганки. Оставшись в огромном, холодном городе без гроша, они начинают выживать. Через Первую мировую, где Егор находит свое призвание в кавалерии и сапожном ремесле, через нищету и тяжелый труд в полуподвале у Белорусского вокзала.

Его жизнь, казалось бы, навсегда замкнулась в круге кожи, дегтя и одиночества, пока в мастерскую не вошла сердитая девушка Анна со стоптанным каблуком. Так, со ссоры, началась их тихая, прочная, выстраданная любовь. Но история XX века не знает пощады. Вторая мировая война, ранение, потеря дома, бесконечная борьба за выживание в коммуналке на Большой Грузинской, где на двенадцати метрах растут восемь детей, собаки, кошки и неистребимая жажда жизни.

Это история о том, как строят дом не из красного дерева и золота, а из верности, труда и молчаливой любви. О том, что настоящее богатство нельзя украсть – его можно только вырастить, стежок за стежком, день за днем, вопреки ударам судьбы. Это гимн простому человеку, который, теряя всё, находит себя в тихом подвиге ежедневного созидания семьи, ремесла и памяти.

— —

ДИСКЛЕЙМЕР

Данное произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, события, организации и локации, включая село Осташово, дом на Большой Грузинской и сапожную мастерскую у Белорусского вокзала, созданы автором. Любые совпадения с реальными лицами, живыми или умершими, историческими событиями или конкретными адресами являются случайными и непреднамеренными.

Автор стремился передать дух и колорит эпохи, но не ставил перед собой цели документальной реконструкции исторических событий. Хронология и детали быта могут быть адаптированы в художественных целях для создания целостного повествования и глубины персонажей.

Это история о частной жизни, личных потерях и обретениях на фоне глобальных потрясений XX века.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

Дом был не просто большим. Он был целым миром, вырезанным из красного, почти черного дерева, и этот мир жил по своим, непостижимым для Егора законам. Он родился в этом мире в 1910-м году, но не был его гражданином. Он был тенью, тихим отголоском, живущим в щели между двумя реальностями.

Его реальность начиналась за тяжелой, обитой рваным бархатом дверью в дальнем конце второго этажа. Это была комната его матери, Марины. Комната служанки. Здесь пахло мылом, крахмалом и легкой кислинкой усталости. Стояла узкая кровать, комод с потершейся фурнитурой, крошечный столик у окна, с которого открывался вид не на парадный въезд с лиственницами, а на хозяйственный двор: сараи, ледник, куры, бегающие за кухаркиной дочкой. На этой кровати он и заснул под монотонный скрип иглы – мать вечно что-то зашивала, штопала, перешивала для барской семьи.

Другая реальность лежала за порогом. Она начиналась с паркета. Не скрипучих половиц, а широких, темных, лакированных досок, которые холодно лоснились, отражая размытые блики из высоких окон. По этому паркету нужно было ходить бесшумно, прижимаясь к стенам, украшенным дубовыми панелями. Стены тоже были из дерева – темного, резного, с причудливыми завитками, в которых мальчик с детства видел то драконов, то спящих кошек.

А потом был зал. Его сердце. Здесь красное дерево расступалось, уступая место белому с золотом. Лепнина на потолке, тяжелые рамы картин, ножки стульев, изогнутые в немыслимом изяществе. Но главное – камин. Огромный, из серого мрамора, с полкой, на которой стояли часы под бронзовым колпаком и две вазы из малахита, похожие на застывшие кусочки летнего леса. Егору строго-настрога запрещалось входить в зал, когда там были хозяева. Но по утрам, когда горничные натирали полы воском, он проскальзывал внутрь. Подбегал к камину и прикладывал ладонь к холодному, отполированному до зеркального блеска камню. Его отражение дрожало в зеленой глубине малахита – бледное, с большими серыми глазами, светлыми волосами, вечно растрепанными. Он не был похож на смуглую, черноволосую Марину. И уж тем более не был похож на рыжеватого, плотного Григория Петровича.

Григорий Петрович Суворов. Хозяин. Бог. Громовержец. Он редко появлялся в поле зрения Егора, но его присутствие ощущалось во всем: в строгом распорядке дня, в тоне, которым старший лакей отдавал приказания, в дорогом запахе сигарного дыма, задерживающемся в библиотеке. Он был человеком из другого измерения – измерения власти, денег и тяжелой, неспешной уверенности. Егор видел его мельком: широкую спину в сюртуке, склоненную над бумагами в кабинете, руку с толстыми пальцами, поправляющую складку газеты. Иногда их взгляды встречались. Взгляд Григория Петровича был быстрым, оценивающим, без тени тепла. Он скользил по мальчику, как по предмету обстановки – возможно, не на своем месте, но и не заслуживающему особого внимания.

Мать о Григории Петровиче не говорила никогда. Когда Егор, уже понимая больше, чем следовало, однажды спросил: «А барин... он мой отец?», Марина не ударила его, как он ожидал. Она лишь побледнела так, что губы стали синими, схватила его за плечи и прошептала с такой силой, с какой никогда не говорила: «Ты – мой сын. Только мой. Запомни. И никогда, слышишь, никогда ни о чем таком не спрашивай».

Но дом знал. И слуги знали. В их взглядах – горничных, кучера, поварихи – читалась смесь жалости, презрения и любопытства. Его не обижали открыто – боялись гнева Марины, которую Григорий Петрович, вопреки всему, выделял. Но и в игры не брали. Он был одиноким призраком в лабиринте роскошных комнат.

Его убежищем стала библиотека. Огромная комната, заставленная шкафами до потолка. Там пахло пылью, кожей переплетов и табаком. Туда редко заходили. Егор научился читать

по складам, тайком, разглядывая книги с картинками – атласы по географии с диковинными животными, тома по истории с гравюрами рыцарей. Он забирался в глубокое кресло у окна, поджимая под себя ноги в стоптанных башмаках, и растворялся в других мирах. Здесь, среди книг, он был не внебрачным сыном служанки, а исследователем, капитаном, путешественником.

Однажды, роясь в нижнем ящике массивного стола, он нашел альбом с фотографиями. Там был молодой Григорий Петрович – стройный, с усами, в военном мундире. Рядом – хрупкая женщина в кружевах, его покойная жена Анна Николаевна. И дети – два мальчика, уже взрослые, учившиеся где-то в Петербурге. Они почти не бывали в Осташово. Егор смотрел на их лица, на это законное, признанное семейство, и в его душе впервые зашевелилось смутное, горькое чувство, которое он позже узнает как несправедливость.

Но был в доме и другой соблазн, более осязаемый, чем призрачное признание. Золото. Оно было не только в позолоте рам. Оно было настоящим. Егор видел его однажды – случайно, в щель приоткрытой двери кабинета. Григорий Петрович сидел за письменным столом, а перед ним стоял открытый железный сейф. Внутри что-то тускло желтело под светом лампы. Это не были блестящие безделушки. Это были плотные, толстые кружки – червонцы, аккуратно уложенные в стопки. И рядом – холодный блеск камней в бархатных футлярах. Хозяин взял одну монету, подбросил на ладони, и она издала мягкий, сочный, не звонкий, а весомый звук. Этот звук и этот тусклый, глубокий блеск врезались в память мальчика навсегда. В этом блеске была какая-то страшная, магнитная сила. Сила, которая могла построить такой дом. Сила, которая позволяла одним быть хозяевами, а другим – жить в комнатах за обитой бархатом дверью.

Так и текли дни в доме из красного дерева – между запахом книжной пыли и призрачным отблеском золота, между тихой любовью Марины и гулким безразличием остального мира. Егор рос, привыкая к своей роли тени. Он научился различать по звуку шагов, кто идет по коридору, знал все потаенные ходы и скрипучие половицы. Этот дом, со всей его красотой и холодом, был его вселенной. Ему и в голову не могло прийти, что все это – паркеты, портреты, малахитовые вазы и даже тот самый железный сейф – может рухнуть в одночасье. Что хрупкая ваза его жизни, и без того далекая от парадного блеска, будет отдана на хранение в трясущиеся руки матери, поставлена на полку тряского вагона и разбита в щепы ловкими пальцами цыганки.

Пока же он был просто мальчиком, который по ночам, засыпая под мерный стук материнской швейной машинки, мечтал не о золоте, а о том, чтобы когда-нибудь, втайне, дотронуться до теплого, живого носа лошади в барской конюшне. Казалось, этому тихому, размеренному существованию не будет конца. Но конец уже подступал, беззвучной поступью, с дальнего конца губернии, где догорали помещичьи усадьбы и ржали на ветру красные флаги. Он подступал, и первым его почувствовал не Егор, не Марина, а само красное дерево стен. Оно, казалось, в эти последние, слишком тихие дни, впитав стоны и шепоты поколений, стало еще темнее, еще непроницаемое, затаив в своих сучковатых прожилках тень грядущего пожара.

КОЛЫХАНИЕ

Сначала это было похоже на далекую грозу. Не звук, а именно ощущение – смутное, беспокойное, как легкая дрожь в стеклах окон после проезда тяжелого воза. Но возы не ехали. В Осташове стояла непривычная тишина. Перестали приходить газеты из губернского города. Приказчик, ездивший на рынок, возвращался хмурый, отрывисто отвечал на расспросы. Григорий Петрович, обычно подолгу засиживавшийся в кабинете, теперь проводил там дни и ночи напролет. Из-за дубовой двери доносились приглушенные, но резкие голоса – он говорил по телефону, кричал в трубку, потом бросал ее на рычаги.

Егор, теперь уже долговязый подросток с не по годам серьезным взглядом, чувствовал это колыхание земли под ногами острее других. Его маршруты по дому стали хаотичными, будто он искал точку, где можно было бы укрыться от надвигающегося гула. Он видел, как Марина, обычно такая спокойная и сосредоточенная, стала ронять иголки, путать нитки, подолгу смотреть в одно точку за окном, где над лесом вставало багровое, недоброе зарево – горели усадьбы в соседней волости.

– Мама, что происходит? – спросил он однажды вечером, видя, как она судорожно, почти машинально штопает его старую рубаху.

Она вздрогнула, уколола палец. Капля крови выступила и впиталась в серую ткань.

– Ничего, Ёрш. Взрослые дела. – Она посмотрела на него, и в ее глазах он увидел тот же страх, что жил у него внутри. Но был там и стальной стержень, решимость. – Ты слушайся няню Агафью. И никуда не отходи от дома, слышишь?

Няня Агафья, древняя, морщинистая, как печеное яблоко, с лицом, напоминающим иконописный лик, стала его главной спутницей. Она, казалось, не боялась ничего. Ее бесстрашие было того же рода, что и у стен дома – выстраданное, древнее, оттого незыблемое.

– Страшно, нянь? – спросил он ее, когда они вышли на заднее крыльцо, откуда было видно, как кучер и два работника тайком грузили какие-то ящики на телегу.

– Страх – грех, дитяtko, – отозвалась она, не глядя на него, устремив свой острый взгляд куда-то за горизонт. – Всё Господом испытание посылается. Одних ломает, других – закаляет. Ты, смотри, не сломайся.

А потом гром грянул. Не с небес, а с земли. В село вошли они. Не сразу толпой, а сначала двое – в потрепанных шинелях, с красными бантами на груди. Молодые, усталые, с глазами, горящими фанатичным огнем. Они прошли прямо к дому, не стучась, распахнули парадную дверь. Егор, прячась за шторой в библиотеке, видел, как Григорий Петрович вышел к ним в прихожей. Он стоял очень прямо, в домашнем сюртуке, руки за спиной. Говорил тихо, но так, что каждое слово было слышно, как удар хлыста.

– В моем доме вы будете соблюдать правила. Документы? Ордер?

Один из пришедших, рыжеватый, с лицом, обветренным до красноты, усмехнулся.

– Правила, гражданин, новые. Революционные. Ордер у нас в винтовках. Осматривать будем.

Их осмотр был грубым и поспешным. В суматохе кто-то задел штыком гобелен... со стены упал и разбился портрет... Егор, затаив дыхание, слышал, как в зале кто-то грубо сорвал со стены небольшой портрет – ту самую хрупкую Анну Николаевну. Раздался звук падающего стекла. Григорий Петрович не издал ни звука.

После этого дня дом из красного дерева словно заболел. Он наполнился чужими запахами – махорки, пота, кожаных курток. По коридорам, где раньше скользили бесшумные горничные, теперь грубо топали солдатские сапоги.

Кульминация наступила через неделю. Григорий Петрович вызвал Марину в кабинет. Егор, терзаемый жгучим любопытством и страхом, прильнул к замочной скважине. Хозяин

выглядел на двадцать лет старше. Его лицо было серым, бесцветным, но глаза горели тем же стальным огнем.

– Конец, Марина, – сказал он тихо, без предисловий. – Завтра придут уже не осматривать. Мы уезжаем. Я – на юг, к сыновьям. Тебе... тебе с мальчиком в Москву. Там пока тише. Там можно затеряться.

Марина стояла, не шелохнувшись, руки сложены перед собой, как всегда.

– Как прикажете, Григорий Петрович.

– Не приказываю. Прошу. – В его голосе впервые прозвучало что-то человеческое, надтреснутое. Он отвернулся, подошел к сейфу. Щелчок замка прозвучал как выстрел. – Вот. Это тебе. На жизнь.

Он вынул не стопки червонцев, а небольшой, но массивный на вид сундучок из темного дерева с металлическими уголками.

– Здесь немного золота. Монеты. Украшения покойной Анны. Семейные вещи. Не для продажи, если сможешь. Для черного дня. И... для него. – Он кивнул в сторону двери, за которой стоял Егор. – Чтобы было с чего начать, если... если всё это кончится.

Марина не бросилась благодарить. Она медленно подошла, взяла сундук. Он явно был тяжел. Ее тонкие запястья напряглись.

– Я доверяю только тебе, – глухо сказал Григорий Петрович. Он поднял на нее взгляд, и в этом взгляде, мелькнувшем на секунду, было столько боли, тоски и чего-то еще, что Егор не мог определить, что у него перехватило дыхание. – И няне Агафье. Она поедет с вами. Старая ворона, но преданная. Проведет.

Сборы были похожи на лихорадочный сон. Все происходило в темноте, при тусклом свете керосиновой лампы. Никаких чемоданов, только два узла из простыней – с бельем, самой необходимой одеждой. Сундучок Григория Петровича Марина завернула в темный, грубый платок, превратив его в бесформенный сверток, который не привлекал бы внимания.

Перед самым рассветом они вышли через черный ход. Дом из красного дерева стоял с темными, слепыми окнами, будто вымер. Григорий Петрович не вышел их провожать. Последним, что увидел Егор, оглянувшись на пороге, был силуэт в окне кабинета на втором этаже – неподвижный, черный, на фоне первого бледного проблеска зари. Этот силуэт не помахал рукой. Он просто стоял и смотрел, как уходит последнее живое доказательство его запутанной, грешной, настоящей жизни.

Телега довезла их до станции. Сама станция была запружена людьми – такими же беглыми, испуганными, потерянными. Лица были серыми от усталости и страха. Пахло дымом, овчиной и человеческим отчаянием. Поезд, подошедший к платформе, был не пассажирским, а каким-то товарно-людским: битком набитые теплушки, забитые до отказа вагоны третьего класса. Их втокнули в одно из купе. Оно было переполнено. Какой-то чиновник с семьей, две монахини, молодая женщина с плачущим младенцем. Марина, Агафья и Егор втиснулись на одну лавку.

Поезд тронулся с жутким скрежетом, будто нехотя. Егор прижался лбом к холодному, грязному стеклу. Мимо проплывали поля, леса, сожженные хутора. Его мир – тот, что был вырезан из красного дерева, – остался позади. Теперь его миром стал этот грохочущий ящик, полный чужих стонов и запахов. Он сжал в кармане кулаки. Сунул руку в другой карман – там лежал перочинный ножик, старый, тупой, подаренный когда-то кучером. Это была его единственная собственность. И тяжелый сверток у ног матери, который она не выпускала из виду ни на секунду.

Они ехали уже несколько часов, когда в купе вошла она. Дверь отворилась, и в спертый воздух ворвалась струя холода и запаха дыма. На пороге стояла молодая цыганка. Высокая, гибкая, в яркой, но потрепанной юбке и цветастой кофте. На руке у нее, завернутый в пеструю ткань, спал младенец. Ее лицо было удивительно красивым – смуглым, с огромными, минда-

левидными глазами цвета темного меда. Но в этих глазах не было ни просьбы, ни унижения. Был острый, изучающий, почти хищный интерес.

– Пожалейте сироту, добрые люди, – запела она тихим, хрипловатым голосом. – Мать дитяти голодна, дитя плачет.

Она обвела взглядом купе. Ее глаза скользнули по чиновнику (он отвернулся), по монахиням (они потупились, шепча молитвы), по Марине. Надолго задержались на ее лице, на ее руках, судорожно сжимавших темный сверток. Потом перешли на Агафью. Старая няня встретила ее взгляд спокойно, без страха, но с холодной, ледяной неприязнью. Цыганка на мгновение смутилась, будто наткнулась на невидимую стену.

– Уходи, милая, – тихо, но твердо сказала Агафья. – Не до тебя тут.

Цыганка не ушла. Ее лицо сменило выражение. Скорбь уступила место какой-то животной, отчаянной решимости.

– Матушка, хоть грошик... Или... может, чайку горячего? У меня с собой есть, хороший, травяной... Успокаивает. Для дитяти, для всех... Устали все, замерзли...

Она ловко, одним движением, достала из складок юбки жестяную кружку и потертый чайник. Быстро, почти фокуснически, насыпала в чайник чего-то из мешочка, залила водой из принесенной с собой фляги. Через минуту в купе поплыл странный, терпкий, но приятный травяной аромат. Он перебил запах пота и страха. Даже чиновник обернулся. Младенец на руках женщины перестал плакать.

– На, матушка, согрейся, – цыганка протянула кружку Марине. Та колеблясь, устало кивнула. Она была измотана до предела, ее руки дрожали от постоянного напряжения. Ароматный, горячий чай казался спасением. Она сделала глоток, потом другой. Егору тоже дали несколько глотков. Напиток был горьковатым, но согревал изнутри, навевая странную, тяжелую дрему. Даже Агафья, после недолгого сопротивления, отпила немного, бормоча себе под нос.

Цыганка уселась в уголке, тихо напевая колыбельную. Ее голос был монотонным, убаюкивающим. Глаза купе начали слипаться. Чиновник клевал носом. Монахини задремали. Марина склонила голову на плечо Агафьи, ее дыхание стало ровным и глубоким. Егор боролся со сном, но тяжесть в веках была непереносимой. Последнее, что он запомнил перед тем, как провалиться в черную, бездонную яму, – это взгляд цыганки. Она уже не пела. Она сидела прямо и смотрела на них. В ее медовых глазах не было ни сна, ни усталости. Только холодный, расчетливый блеск. И в этом блеске было что-то такое, от чего по спине у Егора, даже сквозь дрему, пробежал ледяной мурашек. Но он уже не мог пошевелиться.

Он проснулся от резкого толчка и пронзительного крика. Не своего. Крика матери. Такого крика он никогда от нее не слышал – высокого, животного, полного абсолютного, бесповоротного ужаса.

Свет зимнего утра бил в грязное окно. Поезд стоял, лязгая буферами, на какой-то заснеженной станции. В купе было холодно. Чиновник и монахини в панике метались, ощупывая свои узлы. Молодая женщина рыдала, прижимая к себе ребенка, – у нее украли кошелек.

Марина стояла на коленях посреди купе. Темный платок был развернут. Внутри лежали несколько тряпок и кирпич. Сундучка не было.

– Нет... Нет, нет, нет... – она повторяла это слово, как заклинание, трясая тряпки, будто надеясь, что драгоценности материализуются вновь.

Агафья сидела на лавке, прямая, как палка. Ее лицо было каменным. Но по древним, иссохшим щекам текли медленные, тяжелые слезы. Она смотрела не на Марину, а в пустоту перед собой.

– Предупреждала я... Ох, предупреждала... Глаза у ней, волчьи... – прошептала она.

Егор поднялся. В его ушах стоял звон. Он подошел к матери, опустился рядом с ней на колени. Он не плакал. Внутри у него все замерзло, стало пусто и тихо. Он смотрел на кирпич, тупой, уродливый, завернутый в тряпки. Этот кирпич был насмешкой над всем: над золотом

Григория Петровича, над домом из красного дерева, над их надеждами, над их будущим. Он был настоящим. Все остальное оказалось миражом.

Марина обхватила его за плечи, прижала к себе. Она больше не кричала. Она просто тряслась мелкой, неудержимой дрожью. Агафья поднялась, вытерла лицо краем платка.

– Вставайте, – сказала она глухо, но властно. – Москва следующая. Вставать надо.

И они поднялись. Подобрали жалкие узлы с бельем. Марина, машинально, завернула в платок кирпич – странный, бессмысленный трофей своего падения. Они вышли из купе, спустились на перрон. Москва встретила их ледяным ветром, грохотом сотен голосов, запахом дыма и угля. Они стояли втроем среди бурлящей толпы – женщина, старуха и подросток, у которых в мире не осталось ничего. Кроме друг друга. И кирпича в темном платке.

ГОРОД-МЕХАНИЗМ

Сначала был вокзал: огромный, гулкий, наполненный ревом паровозов, криками носильщиков, плачем детей и резкими свистками милиции. Воздух был густым от пара, угольной пыли и запаха дешевой колбасы. Они стояли у колонны, прижав к себе свои узелки, словно три кораблекрушенца на незнакомом берегу. Багровый кирпич, все еще завернутый в платок, Марина теперь несла не как драгоценность, а как нелепое, постыдное доказательство собственной глупости.

Их спасла Агафья. Ее древняя, согбенная фигура вдруг выпрямилась. Ее глаза, обычно мутные, заглялись острым, практичным блеском.

– Стоять тут – замерзнем, – отрезала она. – Искать ночлег. Не по богатым домам – не те времена. По людям простым. По таким же, как мы теперь.

Она повела их прочь от вокзального сияния, в темнеющие переулки Замоскворечья. Москва за пределами парадных улиц предстала другой – тесной, темной, пропахшей помоями и копотью. Деревянные дома с покосившимися ставнями, обшарпанные каменные особняки, поделенные на двадцать семей. Агафья стучалась в двери, говорила с женщинами на крыльцах, и ее старческий, но твердый голос, полный неоспоримой правды, делал чудеса. К ночи они получили угол – буквально угол, отгороженный простыней, в комнате, где уже жили две работницы табачной фабрики с детьми. За это Марина отдала одну из своих последних сережек.

Так началась жизнь в измерении бедности. Она была не такой, как в осташовской комнате за бархатной дверью. Та бедность была частью иерархии, имела свои правила и даже достоинство. Эта была всепоглощающей, тотальной. Она заключалась в постоянном счете копеек, в борьбе за тарелку пустых щей в дешевой столовой, в вечном холоде (дров на всех не хватало), в поиске любой работы.

Марина шила. Ее изящная, тонкая работа, вышивка и починка барышних платьев, здесь оказалась не нужна. Она перешивала старье, штопала грубые солдатские портянки, клеила конверты на дому за гроши. Ее красивые, усталые руки быстро покрылись мозолями и шрамами от иглы. Она говорила все меньше, будто вся ее энергия уходила на то, чтобы не сломаться под тяжестью каждого нового дня.

Агафья устроилась уборщицей в школу. Приносила оттуда объедки каши, подметанные и высушенные корки хлеба. Она превратила их угол в крепость – чисто выметенную, с аккуратно заправленными постелями, с жестким распорядком. Она была их стержнем, их совестью и их неумолимой силой воли.

А Егор... Егор вырослел за недели. В пятнадцать лет он был уже не мальчиком, но и не мужчиной – нечто промежуточным, угловатым и яростным. Стыд от произошедшего в поезде, ярость на цыганку, на революцию, на весь мир, который так грубо обманул его ожидания, кипели в нем. Он пытался найти работу. Его отовсюду гнали: слишком молод, слишком щупл, выглядит «не по-пролетарски». Он слышал это слово в свой адрес и стискивал зубы. Что в его облике было барского? Поношенная, короткая куртка, грубые штаны, вечный голодный блеск в глазах.

Он начал с боя подрабатывать на вокзале – помогал выгружать мешки, мыл полы в трактире. Деньги были мизерные. Однажды, возвращаясь затемно, он наткнулся на шайку таких же, как он, беспризорников. Их было трое. Они были злее и голоднее. Завязалась драка. Егор отбивался отчаянно, молча, получил удар по лицу и несколько синяков, но не отдал заработанные тридцать копеек. Он приполз домой, разбитый, но с деньгами в кулаке. Марина ахнула, бросилась промывать раны. Агафья, глядя на него своим пронзительным взглядом, сказала только:

– Крепчаешь. И слава Богу. Мягких тут сожрут.

Но настоящим спасением стала война. Не та, что отняла у них дом, а прежняя, Великая Империалистическая. Она еще бушевала где-то на западе, пожирая людей. И ей все еще нужны были солдаты. Егору было шестнадцать, но он был высоким. Он пришел на пункт записи в добровольцы, соврав про свой возраст. Его осмотрел усталый фельдшер, посмотрел на его горящие решимостью глаза, на крепкие, уже рабочие руки.

– Конюхом в обоз определяют, – буркнул он. – Или в пехоту. Хочешь?

– Хочу служить, – хрипло ответил Егор. Война казалась ему выходом. Четким, мужским делом. Местом, где можно получить профессию, еду, шинель. Местом, где его прошлое – сын служанки из красного деревянного дома – не будет иметь никакого значения.

Он попал в кавалерийский запасной полк, стоявший под Тулой. Мир Егора сузился до казармы, плаца, конюшни и запаха – стойкой гремучей смеси пота, кожи, конского навоза и махорки. Его определили в конюхи. Работа была каторжной: чистить, поить, кормить два десятка нервных, норовистых лошадей. Он боялся их сначала – этих громадных, горячих, сильных животных с умными и подозрительными глазами. Но страх быстро сменился уважением, а потом и любовью. Он научился понимать их с полувзгляда, находить общий язык ласковым ворчанием и твердой рукой. Лошади, чувствуя его спокойную уверенность, отвечали ему доверием.

Именно в конюшне он встретил старого солдата, дядьку Степана, бывшего унтера, оставшегося в полку из-за ранения в ногу. Степан был сапожником от Бога. В свободное время он чинил сапоги и сбрую для всего эскадрона. Его уголок в конце конюшни был святилищем: запах дегтя, юфти, густой черной смолы для подметок. Егор заворуженно наблюдал, как кривые, мозолистые пальцы Степана ловко орудуют шилом, дратвой, деревянной колодкой. Как из рваной, безобразной дыры рождается аккуратная, крепкая заплатка. Как мертвая, потрескавшаяся кожа снова становится упругой и блестящей под слоем ваксы.

– Что уставился, орленок? – хрипел Степан, не глядя на него.

– Учусь, дядя Степан.

– А зачем тебе? Коням хвосты крутить – твое дело.

– Конь без подковы – калека. А кавалерист без сапога – пехотинец, – выпалил Егор, повторяя услышанную в полку поговорку.

Степан прищурился, оценивающе посмотрел на парня.

– Ловко сказал. Ладно. Подь сюда. Держи.

Он вручил Егору старый, искореженный сапог и тупой нож.

– Верх от подошвы отдели. Аккуратно. Чтоб кожу не испортить.

Это был его первый урок. Пальцы немели, нож скользил, Егор трижды порезался. Но к концу дня он справился. Степан молча кивнул. Так началось его ученичество. После конюшенной работы он часами сидел в углу с дядькой Степаном, впитывая премудрость ремесла. Как различать кожу. Как готовить дратву. Как ставить заплатку, чтобы она не натирала. Как прибить набойку так, чтобы она не отлетела после первого же перехода. Ремесло было тяжелым, грубым, но в нем была своя, строгая логика и честность. Ты либо сделал хорошо, и сапог служит, либо сделал плохо, и все сразу видно. Эта честность успокаивала душу, израненную предательством и хаосом внешнего мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.